

Antonina Schneider-Striemiakowa

Размышление писателя над языком и содержанием повести А. Платонова Котлован

Polilog. Studia Neofilologiczne nr 3, 271-277

2013

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach
dozwolonego użytku.

Antonina Schneider-Striemiakowa

Berlin, Niemcy

РАЗМЫШЛЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ НАД ЯЗЫКОМ И СОДЕРЖАНИЕМ ПОВЕСТИ А. ПЛАТОНОВА *КОТЛОВАН*

Творчество Андрея Платонова требует неспешного, вдумчивого чтения – тем, кто ищет в литературе лишь её развлекающую сторону, оно противопоказано.

«Сел посидеть», «почувствовал стеснение своего сознания и конец дальнейшему понятию жизни», «не желал тратить нервность своего тела», «сделал активно мыслящее лицо»... Подобных выражений у Платонова бесчисленное множество, сегодня они звучат будто не по-русски. Утверждают, будто это «одесско-идишский сленг», нам же кажется, что это язык безграмотной эпохи и того дьявольского шабаша, когда нелепые выражения и слова исторгались, словно из пасти Змия Горыныча; это язык Дуньки, что рвалась в Европу.

«Нелепость» стиля не исключает, однако, его грамотного синтаксиса. В нём нет избыточных сегодня парцеллирующих предложений, в нём придаточные не становятся самостоятельными, что превращается нынче в норму.

Языком витиеватого пролетария, что неудержимо рвётся к светлому будущему, писатель рисует эпоху, современником которой ему суждено было стать. Пародийно-пафосные плакаты, нелепые с высоты сегодняшнего дня: «Советский транспорт – это путь для паровоза истории», «За партию, за верность ей, за ударный труд, пробивающий пролетариату двери в будущее» – выражали не столько экспрессию времени, сколько его эксцентричность. Такая пафосность вызывала отторжение у людей образованных и ввергала в экстаз безграмотный народ, что жаждал другой жизни.

«Самодельный язык» Платонова – это язык «серого пролетариата». Остановить его стремление к светлому завтра было невозможно, и Платонов выхватывает из реальной жизни эпизоды, характеризующие эпоху, следует за языком, показывая абсурдность авангарда, некую нелепость в его тупой преданности идее.

В избе-читальне женщины изучают на полу азбуку. Чтобы облегчить усвоение материала, приводятся характерные для лексики тех лет слова: на «а» – «авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архилевый, антифашист», на «б» пошли в ход «большевик, буржуй, бугор, бессменный председатель, колхоз есть благо, бедняк, браво-браво-ленинцы!» По поводу твёрдого знака активист разъясняет: «Твердый знак нам полезней мягкого. Мягкий нужно отменить, а твердый нам неизбежен: он делает жесткость и четкость формулировок».

Язык передаёт дух времени, а деталь, что слова закрепляются на полу штукатуркой, характеризует разруху и запустение – быт эпохи.

Автор летописал идею-фикс, манипулировавшую сознанием и превращавшую людей в роботов. Модные слова отражали идеологию, проникали во все сферы человеческой жизни – интимная жизнь исключением не была:

– Ольгуша, лягушечка, ведь ты гигантски чувствуешь массы. Дай я к тебе за это приорганизуюсь!

И выражение, особенно вторая его часть, стало крылатым.

Писатель углубляет, словно экскурсовод, наше познание котлована-государства, вводя всё новых героев, которые мало чем отличаются друг от друга. Мы узнаём, что живой скелет Козлов, мучающийся «сердцем, окруженным жесткими каменистыми костями», «не переживёт социализма – какой-то функции в нем не хватает!», тем не менее этот скелет, к которому «воздух не проникал... до живота, а действовал лишь поверхностно», «тотчас же... захотел... писать опорочивающие заявления и налаживать различные конфликты с целью организационных достижений». Верно закрученная мысль передаёт сущность оболваненного народа. Призрак «вредителя», витавший в воздухе, мешал приближать радостное и светлое будущее, и доносительство было, по мнению этого полуживого народа, благим делом.

И хотя к «соревновательству» подключались зачастую из боязни «прослыть упущенцем», самоистязали себя всё-таки ради благородной цели – прекрасного будущего, и Платонов, мастер языка эпохи, отражает это: «истомленный Козлов ...рубил топором обнажившийся известняк; ...не помня времени и места, спуская остатки теплой силы в камень, который ...нагревался, а Козлов постепенно холодел». Не видя настоящего, не помня прошлого, похожий на зомби, он чувствовал «внутри себя горячую социальную радость», которую «хотел применить на подвиг и умереть с энтузиазмом, дабы весь класс узнавал его и плакал над ним». От этих восторженных мыслей он даже «продрогивал» и «забывал о летнем времени».

Бригадир Чиклин «вонзает лопату в верхнюю мякоть земли, сосредоточив вниз равнодушно задумчивое лицо». Воцев, понимая, что «все равно весь свет не разроешь до дна», «тоже начал рыть почву вглубь, пуская всю силу в лопату, он теперь допускал возможность того, что... будущий человек найдет себе покой в этом прочном доме». От них отставал чахоточный, «с костяным носом» Козлов, и Чиклин, глядя на него, думает: «Кашляет, вздыхает, молчит, горюет! – так могилы роют, а не дома» и разрешает отдохнуть, но «Козлов не уважал чужой жалости к себе» и продолжал рытьё котлована, этой огромной общей могилы.

Сместились представления о жалости, о нравственных ценностях, и Платонов, зеркалькой отражая время, несколько иронизирует. Возможно, это и кощунственно, ибо он повествует о полуживых людях, для которых «ночь замирает рассветом».

Урод Жачев уверен, что «в СССР немало сплошных врагов социализма, эгоистов и ехидн будущего света». Таковым он считает и председателя окрпрофсовета Пашкина, что «жил в основательном доме из кирпича, чтоб невозможно было сгореть», и еду Жачев у него не просит, а требует, объясняя, что «пенсии ...хватает на просо только. А я хочу жиру и что-нибудь молочного. Скажи своей мерзавке, чтоб она мне в бутылку сливок погуще налила!» И жена Пашкина исполняет все эти требования, ибо Жачев-доносчик опасен, и классовый враг ему

может предстать «и в форме сна, и в форме воображения». Она даже даёт разумный совет мужу найти этому несчастному какую-нибудь должность повыше: «Каждому человеку нужно иметь хоть маленькое господствующее значение».

Фанатичные лозунги, призывавшие строить будущий общий дом и заражавшие вирусом всеобщего счастья, убивали в людях человеческое начало, ибо быть счастливым лично считалось предосудительным. «Активный среди мастеровых товарищ Сафронов» пугает Козлова, что положат его спать под лампой, чтоб ему было стыдно, потому что ночью «под одеялом он любит себя, а днем от пустоты тела жить не годится».

Крестьянин-бедняк озабочен не столько тем, что у него могут отобрать лапти, сколько тем, что могут поинтересоваться, почему он «с другими бедными не скопляется».

«Труба»-радио вещала беспрестанно, «как вьюга», и «котлованец» Сафронов приходит к заковыристому, совсем в духе времени, выводу, что «мы должны бросить каждого в рассол социализма, чтоб с него слезла шкура капитализма и сердце обратило внимание на жар жизни вокруг костра классовой борьбы и произошел бы энтузиазм!..» Абсурдную для сегодняшнего дня фразу в тридцатые годы легко было принять за вредную, ибо в «рассоле социализма» люди киснуть не желали. Жили, словно рабочий скот, – ничего для себя, зато во имя идеи: «Вся артель уснула, как жила, в дневных рубашках и верхних штанах, чтобы не трудиться над расстегиванием пуговиц, а хранить силы для производства».

У Платоновского прораба Прушевского хитроумная по тем временам должность – «производитель работ общепролетарского дома». Но «производитель», которому хотелось строить для людей думающих, для таких, кто с душой, «смотрит на светящуюся электричеством ночную постройку завода и с грустью думает, что там нет ничего, кроме мертвого строительного материала и усталых, не думающих людей». «Во время революции по всей России день и ночь, – рассуждает прораб, – брехали собаки, но теперь они умолкли». «Трудящиеся», бурлившие в революции, теперь усмирились, потому что «милиция охраняла снаружи безмолвие рабочих жилищ, чтобы сон был глубок и питателен для утреннего труда».

Молох будущего всеобщего светлого царства поглощал и порабощал, но жить всё же хотелось, и люди боялись быть выброшенными из этого кипящего котла, который либо переваривал мозги и перерождал в фанатов, либо убивал – третьего было не дано. Строительство, естественное для всех живущих, обретает для Вощева смысл лишь при виде погибшей от непосильного труда птицы, ибо в доме можно будет спрятаться от невзгод и бросать за окна крошки ещё живущим птицам.

Скупые описания природы в повести, как правило, олицетворены. В пору «обобществления» «пыль на безлюдной дороге» лежала «скучно», а «деревья бережно держали жару в листьях», ибо скоро должен был наступить холод в сердцах. «С тайным стыдом заворачивались листья», и этот «тайный стыд», признак совести, рождает в подсознании вопрос «почему».

Повесть написана языком простого народа, как если бы автору были чужды более изящные формы и обороты. Лгать и притворяться честный автор не может – для лексикой той поры было в действительности характерно не «трудолюбие», как говорят сейчас, а «трудоспособность». Проходит «строй детей-пионеров с уставшей музыкой впереди», и мы понимаем, что от излишней заорганизованности «устала» даже музы-

ка. «Зверство превосходящего ума» в глазах – от зависти, а, если «помолчали от обозления», сработала воспитанность. Тело главного героя Вощева «побледнело от усталости, он почувствовал холод на веках и закрыл ими теплые глаза». Два взаимоисключающих выражения: «холод на веках» и «теплые глаза»... Вошев, хоть и представитель «серой массы», всё-таки не «зомби», ибо желает во всём видеть смысл...

Забыв о себе, народ трудится впрок. «Под силой тяжести мертвого груза» отстукивают жизнь часы, и лишь цветочки на них могут как-то украсить, «утешить» безрадостное существование артельного люда. Артельный чайник – предвестник «поры питания для дневного труда». Всем даётся ломоть хлеба и кусок «вчерашней холодной говядины», для «артельной жизни» совсем неплохо, но люди, «вместо покоя жизни имели измождение». «Лица их были угрюмы и худы», оказывается, ещё и потому, что «хранили внутри себя истину». Обозначив её, автор, однако, не называет эту истину. Её называем мы, сегодняшние читатели Платонова, ибо знаем, что человек родится не для «артельной жизни».

Радужное будущее должно было стать не менее радужным, просвещённым и светлым, чем ушедшая в небытие жизнь дворян-буржуев, но в повести оно не наступает. Теряя память, люди, напротив, всё более деградируют: в никуда уходят не только дорогие когда-то воспоминания – даже лица матерей.

Среди бедных духом и телом людей появляются, однако, такие, что «хотели работать над веществом существования», но стране они были не нужны, ибо «думание» становилось синонимом безделья. Зачем думать о смысле жизни, когда этот смысл продумала власть, звавшая к «артельной» жизни, когда даже обобществленный скот открывал по команде рты и «начинал медленно есть, организованно смирившись»? И Вошев, глядя на спокойно жующую живность, мучается, почему он не может быть таким же спокойным и почему ему надо во всём искать смысл, он даже «согласен был и не иметь смысла существования, но желал хотя бы наблюдать его в веществе тела другого, ближнего человека».

Повесть Платонова с её беспристрастным изображением эпохи сродни *Путешествию из Петербурга в Москву*, она познавательна, страшна и одновременно опасна, ибо платоновское путешествие – это путешествие по умопомрачению времени, когда «в руках стихийного единоличника» «рычагом капитализма» становился даже голодный козёл; это путешествие по претворению в жизнь обобществления, казавшегося некоей идеей справедливости.

Идея общего дома становилась смыслом жизни, вытесняя Бога. Вошев и бригадир Чиклин в «ватном, желто-тифозного цвета пиджаке, который был у него единственным со времен покорения буржуазии», идут в пустую церковь, где «чистоплотные лица святых с выражением равнодушия глядели в мертвый воздух», и встречают попа, зарабатывавшего активисту деньги на трактор продажей церковных свеч, чтоб «в кружок безбожия приняли». Тех, кто осеняет себя крестом или «склоняет своё тело пред небесной силой», поп заносит в доклад для активиста. Эти реалии не были придуманы автором.

Путешествие по коллективизации у Платонова ничем не примечательно, если не считать, что от рук «буржуев» погибли лишь два их самых ярких противника – Козлов и Сафронов.

Сцена раскулачивания списана с жизни. «Постоянный вой держали» не только бабы, но даже «собаки и другие мелкие нервные животные». «Старый пахарь

Иван Семенович Крестинин целовал молодые деревья в своем саду и с корнем сокрушал их прочь из почвы, а его баба причитала над голыми ветками.

– Не плачь, старуха, – говорил Крестинин. – Ты в колхозе мужиковской давалкой станешь. А деревья эти – моя плоть, и пускай она теперь мучается, ей же скучно обобществляться в плен!»

Представители пролетариата, Вошев и Чиклин («нынешние цари», по выражению одного из крестьян), идут по колхозной деревне. Вот лежит помирающий мужик, что, по словам жены, «всё чуял», и как только взяли лошадь «в организацию», так и слёг. Баба жива тем, что поплачет, потому как слёзы «режут темные глаза» и готовят их к «свету новой жизни», но мужик плакать не может. Во второй избе в гробу лежит умирающий, что сам подливал масла в догорающую над головой лампаду.

Исполнителями грязных дел во все времена являлись люди недалёкие, нищие духом. Процесс раскулачивания исключением не был – урод Жачев наносит карающий удар за собственность: «Чуй, чья власть, коровий супруг!»

Крестьяне-кулаки перед обобществлением режут, как и у Шолохова, скот, только донской писатель превратил то событие в юмор, в то время как у ворожеца аналогичные события даны сурово, скупое, но не менее впечатляюще: «Иные расчетливые мужики давно опухли от мясной еды и ходили тяжело, какдвигающиеся сараи; других же рвало беспрерывно, но они не могли расстаться со скотиной и уничтожали ее до костей». Перед отправкой в океан ликвидированным «посредством сплава на плоту кулака как класса» разрешили в последнюю минуту поплакать и проститься с односельчанами. И те бросаются друг к другу.

– Прощай, тетка Дарья, не обижайся, что я твою ригу сжег.

– Бог простит, Алеша, теперь рига все одно не моя.

«Ликвидировали кулаков вдаль», но уроду Жачеву не сделалось от этого веселее, ибо он вдруг подумал, что и его, как ненужного элемента, могут в «далёкую тишину» ликвидировать – тем не менее кричит отплывающим на плотках: «Эй, паразиты, прощай!» А «буржуи» с плотов напряжённо смотрят на Жачева, стараясь запомнить последнее лицо счастливого на родине человека. После отплытия из радио-трубы раздалась музыка, и все пустились в пляс. «Пришли поодиночке на Оргдвор и стали ржать» «даже обобществленные лошади». И когда радио перестало играть музыку, люди всё никак не могли остановиться – вспоминается *Железный поток* Серафимовича.

В барачном доме «котлована» «жизненные звуки» радио передают «ликующее предчувствие», что приводит в «дребезжащее состояние радости». «Тревожные звуки» «давали чувство совести, они предлагали беречь время жизни», но музыка прекращалась, и «жизнь оседала во всех прежней тяжестью». Это бытописание ошеломляет, а выражение «дребезжащее состояние радости» становится для нас тем же, что «заблудился в трёх соснах» – стреляющей поговоркой.

Невежество и зашоренность власти передавалась народу, который превращали в Иванов, не помнящих родства, ибо кладбища с их могилами уже не становились святынями. Ценности смещались, и люди начинали мыслить такими же нелепыми категориями, каковыми были лозунги и плакаты.

Профуполномоченному недосуг «в суе сплывания масс и организации

подсобных радостей» «погладить ночью свое уменьшившееся, постаревшее тело», ибо он не мог «останавливаться и иметь созерцающее сознание», ему надо было воздействовать на людей. «Беспокойно преданный трудящимся», он провёл всю артель поперек старого города, чтобы они увидели «значение труда, который начнется на выкошенном пустыре», чтоб заметили «то единое здание», «куда войдет... весь местный класс пролетариата», когда забудут про свои частные низенькие домишки, обращал внимание на «кладбище, где хоронились пролетарии, которые скончались до революции без счастья».

Вытравить высмеянное Чеховым чиновничество власть ещё не успела, а, возможно, не хотела и потому отношения с начальниками без дистанции казались невозможными. Прораб Прушевский решил от тоски переночевать в артельном бараке. Утром Козлов, глядя на спящего начальника, советует: «Уходите на свою квартиру, товарищ прораб... Наши рабочие еще не подтянулись до всего понятия, и вам будет некрасиво нести должность».

Дети, вовлечённые в безжалостные идеи перевёрнутой морали, впитывали лексику и уродливую психологию взрослых. Малыш откусывает половину подаренного активистом леденца, а половину возвращает: «— У ней в середине вареньев нету: это сплошная коллективизация, нам радости мало!».

Мать умирает на глазах девочки Насти, и она задаёт ей чудовищный на первый взгляд вопрос: «— Мама, а отчего ты умираешь — оттого, что буржуйка или от смерти?»

Кошунственный с позиций здоровой морали, вопрос был естественным для эпохи, и умирающая, заботясь о дочери, просит уйти с этого места куда-нибудь подальше, чтобы никто не знал, кто её мать, чтобы она забыла, откуда она. Сафонов радуется, что дети не помнят родителей, зато «чуют товарища Ленина и Будённого!» Настя убеждена, что «умирать должны одни буржуи, а бедные нет!» Впитывая дух котлованной жизни, она на вопрос, обижал ли её Жачев, отвечает в духе времени: «— Как же он обидит меня, когда я в социализме останусь, а он скоро помрет!»

«Социализм» и «капитализм» — вот два главных слова, которые дети впитывают едва ли не с молоком матери. Уродливая психология взрослых, подсекая будущее, рождала уродливую психологию детей. Светлое пятно котлованной жизни, девочка Настя, для будущего которой все стараются, умирает. Этой смертью Платонов подводит черту, лишая барачную жизнь надежды в её устремлении к будущему. «В полдень Чиклин начал копать для Насти специальную могилу. Он рыл ее пятнадцать часов подряд, чтоб она была глубока и в нее не сумел бы проникнуть ни червь, ни корень растения, ни тепло, ни холод и чтоб ребенка никогда не побеспокоил шум жизни с поверхности земли», ибо этот «шум жизни» казался теперь ему противоестественным.

Котлован Платонова — это аллегория, в которой просматривалось рабоче-крестьянское государство, что возводило фундамент под новый дом социализма. Очевидец этого строительства, автор не видел ему конца. И хотя фундамент всё расширялся, к своему завершению он никак не продвигался. «Огромный дом» при жизни Платонова так и остался «котлованом», поэтому повесть заканчивается тем же, чем и началась, — рытьём, но уже могилы для маленькой девочки Насти, что должна была жить в этом красивом доме.

Повесть *Котлован* – это ещё и грустная энциклопедия индустриализации и коллективизации, энциклопедия жизни, морали и языка 20-30 годов XX столетия. Нетерпеливое восклицание: «Хочу спросить, когда вы состроите свою чушь, чтоб город сжечь!» – автор смог разрешить лишь устам уроды Жачева. Котлован-государство разрасталось, проникало в глубь планеты всей, но завлечь в эту «гигантоманию» весь мир было противоестественно, поэтому «вот уже который день ходит профуполномоченный по окрестностям, ...чтобы встретить ...постоянных тружеников, но редко кого приводит».

Настанет время, и *Котлован*, этот аллегоричный Колосс, начнут разбирать построчно, растаскивая на пословицы и поговорки. И каждая эпоха возьмёт то, что подойдёт, что понравится, что на сердце ляжет.